

Оглавление

УВЕРТЮРА	9
ГЛАВА 1 <i>Недоношенная</i>	19
ГЛАВА 2 <i>Папа, мама и город Ленинград</i>	34
ГЛАВА 3 <i>Станция Каннельярви</i>	51
ГЛАВА 4 <i>Страхи и глупости</i>	71
ГЛАВА 5 <i>Проспект Космонавтов</i>	79
ГЛАВА 6 <i>Парле франсе!</i>	91
ГЛАВА 7 <i>Катастрофа. Развод</i>	102
ГЛАВА 8 <i>Беда не приходит одна</i>	118
ГЛАВА 9 <i>Героин по-советски</i>	125
ГЛАВА 10 <i>Экономная экономика</i>	137
ГЛАВА 11 <i>Конечно, Достоевский!</i>	150
ГЛАВА 12 <i>Вместо игрушек</i>	165
ГЛАВА 13 <i>На границе труда и капитала</i>	179
ГЛАВА 14 <i>Реквием по “Планете”</i>	188
ГЛАВА 15 <i>Тот самый юный зритель</i>	197
ГЛАВА 16 <i>Первый провал и новая жизнь</i>	208
ГЛАВА 17 <i>Пыльная работёнка</i>	217
ГЛАВА 18 <i>Дефлорации по-идиотски</i>	226
ГЛАВА 19 <i>Учитель на всю жизнь</i>	231

ГЛАВА 20	<i>Дом и Родина</i>	251
ГЛАВА 21	<i>Лучшая рифма к слову “Оять”</i>	260
ГЛАВА 22	<i>Роман о Рыжике</i>	269
ГЛАВА 23	<i>Что должна знать каждая женщина</i>	291
ГЛАВА 24	<i>У меня будет ре.....</i>	302
ГЛАВА 25	<i>Другая, другая жизнь</i>	316
ГЛАВА 26	<i>После диплома</i>	332
ГЛАВА 27	<i>На графских развалинах</i>	338
ГЛАВА 28	<i>Надейся и жди?</i>	346

УВЕРТЮРА

я пишу для тебя

9

Я не могла понять, зачем и для кого буду писать эту книгу, пока не увидела её.

Случайно на улице, шла мимо. Девушка лет восемнадцати в мешковатом чёрном пальто, длинные русые волосы, кое-как подстриженная чёлка. Что-то нелепое в фигуре. И в манерах. Что-то категорически не совпадающее с реальностью, порывистое и ужасно трогательное.

Она не видела меня, увлечённая своей книжкой или своими мечтами.

Она смотрела куда-то серо-голубыми северными глазами, а я замерла в узнавании... Я так хорошо знала этот зачарованный рассеянный взгляд, эти обкусанные ногти, эти бедные разбитые туфли.

Я всем нутром ощущала, как она талантлива и как несчастна. И я знала, что ещё долго-долго придётся ей быть талантливой — неизвестно в чём — и несчастной, а это уж слишком ясно — отчего.

Это женский мутант.

Это результат жестокого эксперимента по внедрению духа в природу.

Это женщина, которой досталась искорка творческого разума.

Это я.

Это я несколько десятилетий тому назад — с отчаянным туманом в голове, зачитавшаяся до одури, бредущая по городу...

Видимо, такие всегда были, есть и будут — наверное, существует норма в процентах. Я думаю, процентов пять–семь от общего числа...

Или уже больше?

10 Или всё-таки меньше?

Я не знаю. Но мне хотелось бы написать книгу, которая помогла бы этой девушке выстоять в жизненной борьбе — выстоять и, быть может, победить.

На этом месте многие читатели могут и надуться. Скажут — а что, если у нас ногти не обкусанные и взгляд не зачарованный, и если мы вообще мужчины средних лет, так что же, нам и книжку эту читать не разрешается?

Что вы, что вы. Сегодня я приглашаю всех! Я же буду рассказывать о своей жизни, а это вызывает аппетит у многих. Я сама с наслаждением читала жизнеописания людей, с которыми не имела ничего общего ни по полу, ни по возрасту, ни по судьбе — но чем дальше от себя, тем даже лучше, своё-то мы и так знаем.

Пусть ко мне на огонёк приходят самые разные люди, пожалуйста. Я говорю лишь о внутреннем послании, о письме “неведомой подруге” или ученице, которую никогда, наверное, не встречу в реальности, — это я сама восемнадцати лет, возродившаяся вновь, сейчас, в этом мире.

Мне кажется, ей сейчас горько, трудно, странно. Её мысли и намерения путаются. Она не знает, что ей делать, куда идти, где её путь. Мир жарко и пошло

наваливается на душу, бормочет бредовое и сбивает с толку — а настоящих друзей мало. Почти нет. Их может не быть вообще, так бывает...

Я окликаю тебя.

— Эй, ты! Да, да, ты, с толстой книжкой в руке, в стоптанных туфельках, с туманной, гудящей от слов головой!

Тебе кажется, что ты одна — и это так, ты одна, но... ты не одна.

11

Побудь со мной.

Послушай меня.

Я расскажу, как долго и трудно я шла к самой себе. И ещё неизвестно, пришла ли. Из моей нелепой жизни нельзя вывести никакого урока, но что-то понять из неё — мне кажется — можно.

я вас не боюсь

Моя первая книжка, сборник эссе “Похвала плохому шоколаду”, вышла в 2003 году, из чего, как вы понимаете, следует, что автор удосужился собрать свои сочинения в книгу, уже “отмотав срок” в сорок пять лет. В следующем, 2004 году появился мой первый роман, “Смерть это все мужчины”, и я стала считаться писателем, которым, конечно, была от рождения, чего мир просто не знал.

Но почему так поздно? Что это за литературный дебют такой — в сорок шесть лет?

Я могу предъявить высокому суду всякие черновики, рукописные и машинописные, разных лет — простите, я писала, писала... только никому не показывала и ничего не завершала.

Тут дело, конечно, не в семье (муж, двое детей), которая брала силы, но уж не настолько, чтоб не смочь написать книжку.

(Каждый день по страничке — через год будет книжка!)

И не в трудностях самого процесса (всё ж таки молотить на машинке было очень утомительно). Но вела же я исправную критическую деятельность, сочиняла статьи, иногда довольно большие. Бывало, что я писала от руки, и рука дико уставала. Тем не менее я написала за три дня пьесу “Рождение богов”, зелёной шариковой ручкой, в припадке вдохновения. Стало быть, и это не оправдание. Даже без верной Софьи Андреевны (жена Толстого переписывала его сочинения, но у меня не может быть жены, я сама жена!) давно могла бы ты, девушка, написать свою “Войну и мир”.

Ну, так в чём же дело?

Дело в ужасе перед людьми, перед их мнением.

Я боялась всеми кишочками души оказаться отвергнутой и осмеянной. Это сейчас внутри выросло что-то вроде дерева и оделось корой, правда, не особо прочной. А до “великого одеревенения” моя душевная природа состояла, как тело матерого бойца, из ран, ожогов, синяков, обморожений и прочих злополучий, в разных стадиях заживления...

В детской жизни было два горестных случая. То есть их было двести двадцать два, но эти запомнились острей всех.

Меня отдали в школу — ещё семи лет не было, — зачем сидеть в детском саду смышлённому ребёнку, который свободно читает и пишет. Трудности в общении со сверстниками, некоторую угрюмую отъединённость от мира, чрезмерную ранимость просто не

заметили. (Я всегда была скрытной — коренное свойство натуры.)

Так вот, школы я испугалась. Так испугалась, что несколько раз на людях описалась от страха. Дети смеялись — учительница, добрейшая Тамара Львовна, взяла меня под защиту. Ничего очень уж страшного не было, травли там или постоянного издевательства, дети были неплохие, потом я подружилась с некоторыми и защитилась ими от стаи. Но забыть ощущение позора трудно. 13

Дома ничего не сказала.

Второй случай. Меня в начальных классах оставляли на продлёнку, часов до шести в школе — делать уроки, читать под надзором. И кормили ещё какой-то дрянью. Так ужасна была жареная картошка, отвратительная, горького вкуса — а я-то выросла на гениальной бабушкиной стряпне, — что я не могла это есть и потихоньку выбрасывала несъедобные дольки под стол. Кухонная работница заметила самоволку и стала возмущённо орать. Крупная злая бабища, а я тогда была маленькая, тихая, с косичками. Она заставила меня лезть под стол и собирать эту горькую невыносимую картошку, и я не посмела сопротивляться. Через шесть лет — смогла, всему школьному режиму смогла дать отпор, о чём расскажу, а тогда сил не набрала ещё. Полезла под стол, ползала там среди школьнических ног, собирала картошку, они смеялись, ух как они смеялись! Помню атомную смесь жаркого красного стыда и солёных избыточных слёз.

Я думаю, надолго остался ужас — сделать что-то не то, над чем будут смеяться. Но его больше нет.

Страх перед насмешками и осуждением людским ушёл вместе с другими человеческими свойствами,

из которых более всего мне жаль чудесной способности любить на ровном месте. Она, эта способность, очень скрасила мне жизнь.

Я не боюсь людей. Наверное, я их больше не люблю — и оттого совсем не боюсь.

Я кровно приварена к семье, легко отдам жизнь за детей, многие люди меня восхищают, есть те, кто дорог и симпатичен. Но любви больше нет — надо-
14 рвалась, устала я любить.

(Мне кажется, если быть честными и посмотреть внимательно и строго вглубь жизни — уходит любовь-то, утекает от нас...)

Ну, об этом мы ещё поговорим, а сейчас важно то, что отдельная русская женщина совершенно распустилась и осмелела. И собирается рассказать о своей жизни, дерзко выкрикивая “я вас не боюсь!”.

И чего мне бояться? Я научилась жить среди равнодушия, без горячей заботы о себе, без подарков судьбы, в беспокойстве и раздражении постоянном. Когда меня оскорбляют, мне больно, но через два-три дня всё проходит. Женщины часто воспринимают триаду “деньги — слава — любовь” как возможную защиту от холода и боли (любовь тоже боль, но иного рода) — однако я выучилась жить и с холодом и с болью. Я терплю холод, как почтальон в старину, отправленный в дальнее поселение с важным письмом, я терплю боль, как терпит её человек с вылезшим гвоздём в ботинке, который ежеминутно терзает пятку, — и ботинок почему-то нельзя снять.

Тем более что радость хоть не каждый день, как солнце на Севере, но согревает душу.

Пока что — всё терпимо.

Зря я так боялась.

я что-то знаю?

Я, я, я, я... Забавно придумала Рената Литвинова имечко для своей глухой героини в сочинении “Обладать и принадлежать” — Яя. Внутри нас действительно живёт какая-то “Яя”, и любит она про себя сказки сказывать и приговоры приговаривать.

Над этим посмеивался гениальный Шварц Евгений Львович в гениальных своих дневниках (которые до сих пор вроде бы полностью не расшифрованы), где писал без придумок, с натуры — людей, годы, жизнь. У него есть пассаж про художника Лебедева, который любил самые обычные свои движения сопровождать торжественным “У меня есть такое свойство...”

“У меня есть такое свойство — я терпеть не могу винегрета...”

Ох ты батюшки, свойство у него.

Думаю, и вы встречали немало таких людей, важно сообщающих нам совершенные пустяки как рельефные, полные смысла личные “свойства”.

“Я пью только зелёный чай”.

“Я плохо сплю в поезде”.

“Не люблю печёнку!”

Ну а что, собственно, нам говорят про человека подобные “свойства”? Ничего. Разве что помогают притереться к индивиду, если судьба его к вам привела-приткнула. Если он ваш гость, к примеру, — ладно, заварим ему зелёного чаю. Не дадим печёнки. Мы гуманисты.

Другое дело, если человек заявит что-то из области ментальных пристрастий.

“Почти не читаю художественной литературы, она меня утомляет, мне скучно”.

“Русский рок? Нет, не перевариваю, увольте”.

“Сейчас хожу только в Студию театрального искусства Женовача — это лучшее, что есть в Москве”.

Уже ничего, можно какой-то разговор затеять. Поспорить хотя бы, правда, те воображаемые фразы, что я привела, рисуют портрет довольно категоричного, намеренно ограниченного человека, и спорить с ним будет трудно.

16 Но я веду к чему? К тому, что самоопределение через набор свойств — чаще всего маленький Яя-театр. Человеку хочется построить и сыграть цельный художественный образ себя. А потом его ещё и проанализировать! Не только перевоплотиться в образ себя, но и рассказать о нём. Выполнить одновременно функции художественного творчества и критического анализа!

Поразительно, но многие с этим справляются отлично. (Никто не сообщает только одного — каков его обычный процент лжи в рассказе о себе, никто и никогда.) Так что, общаясь с человеком, имеешь дело с двумя существами: с ним и с его художественным образом.

Крайний вариант такого раздвоения изумительно сыграл актёр Сергей Рускин в роли Иудушки Головлёва (“Господа Г.” по роману Щедрина “Господа Головлёвы”, театр “Русская антреприза имени А. Миронова”, Петербург). Иудушка — бездушный выродок, он родился дефективным, бесчувственным к людям, с сильными, хищными первобытными инстинктами, что-то ужасное есть в этой полной бабьей фигуре с адскими ледяными глазами, что-то от нелюдя, тролля, болотной нежити. Но он сам считает себя прилежным христианином, образцовым человеком, близким к ангелу! Он обирает ближних с неумолимостью насекомого, и при этом

слово “бог” не сходит с его уст, принимаются смиренные позы, он сам себе кажется прекрасным, благородным, справедливым, добродетельным!

Ага, скажете вы, но придумка себя идёт изнутри — есть же “объективные показатели”.

Хорошо. Я смотрю на себя в зеркало — вижу немолодую женщину среднего роста, очень крупную, полную, с огромной грудью и животом. При этом у меня тонкие запястья, щиколотки и шея. Осветлённые волосы обстрижены и не доходят до плеч, глаза зелёные, но многие утверждают, что голубые — странный, не разгаданный мной эффект. Слева в углу губ большая родинка с явной перспективой на бородавку. В разных странах мира меня принимали только за русскую. Лишь однажды — за польку! Помню, как ленфильмовский гример Коля, когда я пришла на грим для картины “Мания Жизели”, посмотрел в зеркало и сказал: “А что её гримировать? Хорошее русское лицо”. Подумал и добавил: “Типа Крупской”.

Хорошее русское лицо типа Крупской. Хорошее, нормальное русское чудище женского рода.

Но там, внутри себя, я же ничего этого не чувствую! Ни веса, ни возраста, ни цвета глаз, ни родинки — ничего...

Внутри меня обитает та, чьего имени я не знаю и называю её Мать — Тьма, великая *Тьмать*, и моё тело нужно только для поддержки её временных границ.

Она заперта во мне. Она где-то есть в полной мере не во мне, как где-то есть океан, но она есть и во мне — она меня создала, и я не могу не отзываться, когда она зовёт.

Тьмать доходит до головы, но там она всевластия уже не имеет. Туда она протекает во время сна полно-

стью, а с пробуждением медленно и неохотно утекает, оставляя густые, тёмные, долго высыхающие следы. Там, в голове, неравномерный свет — то блистающий и острый, то спокойный и мерцающий. Иногда он так разрастается, что чудится, будто заливает он всю Тьмать, затаившуюся внизу, в родовых глубинах. Но уж оттуда её не изгонишь, не вытравишь ничем и никогда!

А среди борений света и тьмы, кто там поёт и чирикает?

Да так. Какая-то птичка. Вот залетела и поет. И я её спрашиваю утром: ну что, как дела? Будем жить? И она отвечает: да-да! Будем жить-жить!

Птица моя капризница — то запечалится вдруг, то развеселится. Но вообще-то она питается радостью и дарит мне ощущением полёта, хотя где она там летает — уму непостижимо...

Но кто же здесь я?

А вот всё это хозяйство вместе и есть я. Всё это хозяйство, да притом в динамическом развитии от нуля до наших дней.

Об этом и расскажет вам мой “биороман”.

Буду писать спокойно и просто.

Занавес, занавес, поднимайте занавес — я готова.

ГЛАВА 1

Недоношенная

Начало моей жизни было самое ужасное. 19
Беременность двадцатидвухлетней мамы Киры протекала непросто — она часто падала, причём на живот. Вообще, жизнерадостная выпускница Ленинградского военно-механического института, блиставшая в знаменитой самодеятельной драме Военмеха, только что вышедшая замуж за такого же простофилю, о семейном быте, рождении и воспитании детей подозревала смутно. Вечером, перед ночью моего рождения, мама играла с приятелями в преферанс — надеюсь, хоть это-то прошло у неё удачно.

Мама играла неплохо, знала варианты — “сочинку”, “ленинградку”. Итак, моё рождение было запланировано на обстоятельный, солидный и праздничный январь — а случилось в невротическом, революционном, “достоевском” ноябре.

Я родилась второго ноября 1958 года в Ленинграде, около часа ночи, даже не семимесячной, а шести месяцев двух недель, в клинике Отта, что на Васильевском острове, и весила один килограмм семьсот граммов. Сразу же после родов меня отправили в “барокамеру” — специальный инкубатор для недоношенных. Этим благородным делом заправляла легендарная женщина, которая, как говорили, “выращивала с девятисот